

P1
A41

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

Собрание сочинений
в пяти томах

ЧУГИГ

2

Оренбургская областная
библиотека им. Н. Крупской

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1966

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания

ка и вывела брата, кормилица вынесла маленькую мою сестру! Сколько объятий, поцелуев, радости, вопросов и ответов! Сбежалась вся дворня, даже крестьяне, слuchившиеся дома, и куча мальчишек и девочек. Отец мой очень обрадовался; он не верил, что удалось высвободить меня из гимназии; последнюю неделю некогда было писать к нему из Казани, и он ничего не знал, что там происходило.

ГОД В ДЕРЕВНЕ

Первые дни были днями самозабвения и суматошной деятельности. Прежде всего я навестил своих голубей и двух перезимовавших ястребов. Я обегал все знакомые, все любимые места, а их нашлось немало. Около дома, в саду, в огороде и в ближайшей роще с грачевыми гнездами везде бегала со мною сестрица, уцепясь за мою руку, и даже показывала, как хозяйка, кое-что сделанное без меня и в том числе огромную и высокую паровую гряду из навоза, на которой были посажены тыквы, арбузы и дыни. Сбегали мы также с ней и в кладовые амбары, где хранилось много драгоценностей: медные, железные и резной костью оклеенные ларцы с разными штуфами и окаменелостями, подаренными некогда моей матери каким-то важным горным чиновником; посетили и ключницу Пелагею на погребе и были угождены холодными густыми сливками с черным хлебом. Но к реке и за реку сестрице не позволяли ходить со мною, и туда провожал меня Евсеич. Мы перешли с ним через мосточки на первый остров, где стояла летняя кухня и лежали широкие лубки, на которых сушили мытую пшеницу. Этот островок окружала с двух сторон старица Бугуруслана, которая начинала пересыхать и зарастать таловыми кустами; мы перебрались через нее по жердочкам и сейчас перешли на другой остров побольше, также с одного боку окруженный старицей, но еще глубокой и прозрачной. Это было любимое место моей тетки Евгеньи Степановны, все засаженное по берегу реки березами и пересеченное посередине липовой аллеей. Очевидно, что это место давно понравилось еще моему дедушке и что он засадил его деревьями задолго до рождения меньшей своей дочери Евгени, как он называл ее, потому что деревьям было

лет по пятидесяти, а дочери — тридцать пять. Евгенья Степановна хотя не получила никакого воспитания, как и все ее сестры, но имела в душе какое-то влечение к образованности и любовь к природе. У ней водились кое-какие книжечки: старинные романы (вероятно, доставленные ей братом) и театральные пьески. Разумеется, я все их перечитал с дозволения и без дозволения; особенно помню один водевильчик под названием: «Драматическая пустельга». Тетка любила читать книжку на острове и удить рыбку в глубокой старице. На многих березах вырезала она свое имя и числа разных годов и месяцев, даже какие-то стишкы из песенника. Как я любил этот остров!.. Как хорошо было на нем в летние жары! Прекрасная тень и кругом вода! С одной стороны — новая канавка, идущая от вешняка, соединялась с водой, быстро бегущей из-под мельницы, а с другой — прежнее русло Бугуруслана, еще глубокое и прозрачное, огибало остров. Без сердечного трепета, без замиранья сердца не могу я до сих пор вспомнить летнего полдня на этом острове. Теперь все переменилось. Старица почти высохла; другая новая канавка отвела воду от вешняка в другую сторону; везде разросся тальник и ольха, и остров уже понапрасну сохраняет свое имя. Впрочем, если взять все пространство земли, идущее до плотины, то с натяжкой оно может еще называться прежним именем. Налюбовавшись досыта островом, оглядел каждое дерево, перечитав все тетушкины надписи, насмотревшись на головлей и язей, гулявших или неподвижно стоявших в старице, отправились мы с Евсентием на мельницу; но я забежал на Антошкины мостки, где часто уживал пескарь, и на кузницу, где я любил смотреть, как придали искры из-под молота, ковавшего раскаленное железо. Когда же я взбежал на плотину и широкий пруд открылся передо мной с своими зелеными камышами и лопухами, с длинною плотиною, обраставшую молодыми ольхами, с целым миром своего птичьего и рыбьего населения, с вешняком, каузом и мельницей,— я оцепенел от восторга и простоял как вкопанный несколько минут. Мельник, по прозванию Болтушенок, очень меня любивший, приготовил мне неожиданную потеху: он расставил в травах несколько жерлиц на щук и нарочно не смотрел их до моего прихода; он знал, что я приду не-

пременно; он посадил меня с Евсеичем в лодку и повез полоями до травы; вода была очень мелка, и тут я не боялся. Я сам вынимал каждую жерлицу, и на одной из них сидела большая щука, которую я вытащил с помощью Евсеича и с торжеством нес на своих руках до самого дома. Потом дни через два отец свозил меня поудить и в Малую и в Большую Урему; он ездил со мной и в Антошкин враг, где на самой вершине горы был сильный родник и падал вниз пылью и пеной; и к Колоде, где родник бежал по нарочно подставленным лиловым колодам; и в Мордовский враг, где ключ вырывался из каменной трещины у подошвы горы; и в Липовый, и в Потасенный колок, и на пчельник, между ними находившийся, состоящий из множества ульев. Там жил постоянно, и лето и зиму, старый пчеляк в землянке, также большой мой приятель, у которого был кот Тимошка и кошка Машка, названные так в честь моего отца и матери.

В таких-то приятных суетах и хлопотах прошли первые две недели после нашего приезда в Аксаково. Нечего и говорить, как была счастлива моя мать, видя меня веселым, бодрым и, повидимому, здоровым. Она еще в Казани взяла свои меры, чтоб не пропало в совершенной праздности время моей деревенской жизни, и запаслась учебными гимназическими книжками. Постоянно думая, что если я, по милости божией, поправлюсь здоровьем, может быть, через год, то все же надобно будет представить меня опять в гимназию,— она назначила мне от двух до трех часов в день для повторения всего, чему я учился, для занятия чистописанием и чтением ей вслух разных книг, приличных моему возрасту. Я исполнял это очень охотно, и деревенские удовольствия становились для меня еще приятнее после занятий. Я принял также доучивать мою милую ученицу, маленького моего друга, мою сестрицу, и на этот раз с совершенным успехом.

Я уже сказал, что, повидимому, казался здоровым, но на деле вышло не совсем так. Правда, по выходе из гимназии не было у меня ни одного припадка, дорогой даже прошли стеснения и биения сердца и в деревне не возобновлялись; но я стал каждую ночь бредить во сне более, сильнее обыкновенного. Сначала мать моя не придавала этому бреду никакой значительности, все при-

писывая излишнему беганью и живости детских впечатлений, тем более что до поступления в гимназию я часто грезил, чему подвержены бывают многие дети. Но теперь это начало принимать мало-помалу другой характер. Во-первых, я стал бредить постоянно всякую ночь очень сильно, иногда по нескольку раз. Во-вторых, я стал не только говорить во сне, но вскакивать с постели, плакать, рыдать и выбегать в другие комнаты. Я спал вместе с отцом и матерью в их спальней, и кроватка моя стояла возле их кровати; дверь стали запирать изнутри на крючок, и позади ее в коридорчике спала ключница Пелагея, для того чтобы убежать сонному не было мне никакой возможности. Ночной бред, усиливаясь день ото дня, или, правильнее сказать, ночь от ночи, обозначился, наконец, очевидным сходством с теми припадками, которым в гимназии я подвергался только в продолжение дня; я так же плакал, рыдал и впадал в беспамятство, которое переходило в обыкновенный крепкий сон. Но этиочные новые припадки были гораздо сильнее и страшнее прежних дневных припадков и проявлялись с большим разнообразием. Иногда это был тихий плач и рыданья, всегда с прижатыми к груди руками, с невнятным шепотом каких-то слов, продолжавшиеся целые часы и переходившие в бешенство и судорожные движения, если меня начинали будить, чего впоследствии никогда не делали; утомившись от слез и рыданий, я засыпал уже сном спокойным; но большого труда стоило, особенно сначала, чтоб окружающие могли вытерпеть такое жалкое зрелище, не попробовав меня разбудить и помочь мне хоть чем-нибудь. Мне рассказывали после, что не только мать, которая невыразимо терзалась, глядя на меня, но и отец, тетка и все, кто около меня были, сами надрывались от слез, смотря на мои мучительные слезы и рыданья.— Иногда я вдруг вскакивал на ноги с пронзительным криком, дико глядел во все глаза и, беспрестанно повторяя: «Пустите меня, дальше, прочь, мне нельзя, не могу, где он, куда идти!» — и тому подобные отрывистые, ничего не объясняющие слова,— я бросался к двери, к окну или в углы комнаты, стараясь пробиться куда-то, стуча руками и ногами в стену. В это время у меня была такая сила, что двое и трое не могли удержать меня, и я, обливаясь потом, та-

скал их по комнате. Этого рода припадок всегда оканчивался сильным обмороком, в продолжение которого трудно было заметить, что я дышу; обморок переходил постепенно в сон, сначала несколько беспокойный, но потом глубокий и тихий, продолжавшийся иногда часов до девяти утра. После тихих слез и рыданий я просыпался бодрый и живой, как будто всю ночь проспал спокойно; но после исступленного вскакивания и какого-то бешенства я бывал несколько слаб, бледен, как будто утомлен; впрочем, все это скоро проходило, и я целый день весело учился, бегал и предавался своим охотам. Проснувшись, я ничего ясно не помнил: иногда смутно представлялось мне, что я видел во сне что-то навалившееся и душившее меня или видел страшилищ, которые за мной гонялись; иногда усилия меня державших людей, невольно повторявших ласковые слова, которыми уговаривали меня лечь на постель и успокоиться, как будто пробуждали меня на мгновение к действительности, и потом совсем проснувшись поутру, я вспоминал, что ночью от чего-то просыпался, что около меня стояли мать, отец и другие, что в кустах под окнами пели соловьи и кричали коростели за рекою. Мать моя не знала, что и делать; особенно пугало ее то, что во время обморока показывались у меня на лице судорожные подергивания и пена на губах, признак зловещий. Мысль, что это может быть в самом деле падучая болезнь, задолго пропророченная Евсеничем в его письме,— приводила ее в ужас. Капли, предписанные Бенисом, она перестала давать; кровоостановительного декокта, полученного из казенной аптеки, вовсе не употребляла, хотя Бенис советовал попить его, подозревая во мне золотуху, которой никогда не бывало. Мать позволила мне купаться в реке, думая, что купанье может укрепить меня: оно мне очень нравилось, но пользы не приносило. Мать обратилась к Бенису и так мастерски написала историю моей болезни, что доктор пришел в восхищение от ее описания, благодарил за него, прислал мне чай и пилюли и назначил диету. Все исполняли с большой точностью, но облегчения болезни не было; напротив, припадки становились упорнее, а я слабее. Чай и пилюли бросили, принялись за докторов простонародных, за знахарей и знахарок. Все говорили, что дитя испорчено, что мне попрятчилось; умывали, облива-

ли, окуривали меня — все без успеха. Я совсем не против народной медицины и верю ей, особенно в соединении с магнетизмом; я давно отрекся от презрительного взгляда, с которым многие смотрят на нее с высоты своего просвещения и учености; я видел столько поразительных и убедительных случаев, что не могу сомневаться в действительности многих народных средств; но мне тогда не помогли они, может быть оттого, что не попадали на мою болезнь, а может быть и потому, что мать не согласилась давать мне лекарства внутрь. Помню, однако, что я долго принимал, по совету одной соседки, папоротник в порошке, для чего употреблялись самые молоденькие побеги его, выходящие, наподобие гребешка, непосредственно из корня, между большими прорезными листьями или ветвями этого растения. Папоротник также не помог. Наконец, обратились к самому известному лекарству, которое было в большом употреблении у нас в доме еще при дедушке и бабушке, но на которое мать моя смотрела с предубеждением и до этих пор не хотела о нем слышать, хотя тетка давно предлагала его. Это лекарство называлось «припадочные, или росные, капли», потому что росный ладан составлял главное их основание; их клали по десять капель на полрюмки воды, и вода белела, как молоко. Число капель ежедневно прибавлялось по две и доводилось до двадцати пяти на один прием, всегда на ночь. Мне начали их давать, и с первого приема мне стало лучше; через месяц болезнь совершенно прошла и никогда уже не возвращалась. Когда довели до двадцати пяти капель, то стали убавлять по две капли и кончили десятью; я не переставал купаться и не держал ни малейшей диеты. Сколько было бы шуму, если б так чудотворно вылечил меня какой-нибудь славный доктор! Отдохнула моя бедная мать, и отец, и все меня окружающие, особенно ключница Пелагея, которая постоянно возилась со мной во время припадков, сказывала сказки мне с вечера и продолжала их даже тогда, когда я спал; мать моя была так обрадована, как будто в другой раз взяла меня из гимназии.—Вот как часто ищем мы исцеления вдалеке, когда оно давно находится у нас в руках.—Возвращаюсь несколько назад.

Несмотря на страшный характер моей болезни, ни ученье мое, ни деревенские удовольствия не прекраща-

лись во все время ее продолжения; только и тем и другим, когда припадки ожесточались, я занимался умеренное и мать следила за мной с большим вниманием и не отпускала от себя надолго и далеко. Каждый день поутру, покуда не так было жарко, отправлялся я с Евсеичем удить. Самое лучшее ужение находилось у нас в саду, почти под окнами, потому что пониже Аксакова, в мордовской деревне Кивацкое, была мельница и огромный пруд, так что подпруда воды доходила почти до сада; тут Бугурслан мог называться верховьем Кивацкого пруда, а всем охотникам известно, что для уженья рыбы это очень выгодно. Впервые познакомился я тогда с высшим наслаждением рыбака, с уженьем крупной рыбы: до тех пор я лавливал только плотву, окуней и пескарей; конечно, две первые породы достигают также значительной величины, но мне как-то очень крупная не попадалась, а если и попадалась, то я не мог ее вытащить, потому что удил на тонкие лесы и маленькие крючки. Евсеич свил мне две лесы, волос в двадцать каждую, навязал толстые крючки, привязал лесы к крепким удилищам и, взяв еще свою удочку, повел меня в сад на свое секретное место, которое он называл «золотым местечком». Насадив на крючок кусок умятого черного хлеба величиною с большой русский орех, он закинул мою удочку на дно под самый куст, а свою пустил у берега возле травки и камыша. Я сидел смиро и не смел смыгнуть с моего наплавка, который тихо похаживал взад и вперед оттого, что тут вода завертывала под берег. В непродолжительном времени Евсеич вдруг вскочил и, закричав: «Вот он, батющка!» — начал возиться с большой рыбой, обеими руками держа удилище. Евсеич не имел понятия об уменье удить и потащил изо всей силы, как говорится, через плечо на вынос; рыба, вероятно, запуталась за траву или за камыш, удилище было просто палка, и леса порвалась: так мы и не видали, какая это была рыба. Евсеич пришел в большой азарт; я также почти дрожал, глядя на него. Евсеич клялся и уверял, что это была такая большая рыбина, какой он сроду не уживал; но, вероятно, обыкновенный язь или головль запутался за траву и оттого покалался ему так тяжел. Развив другую мою удочку, дядька мой закинул ее поскорее на то же самое место, где взяла у него рыба, и, сказав: «Видно, я маленько погорячился, те-

перь стану тащить потише», — сел на траву дожидаться новой добычи, но напрасно. Тогда пришла моя очередь, и судьба захотела меня потешить: наплавок мой стал по-немногу привставать и опять ложиться, потом встал окончательно и исчез под водою; я подсек, и огромная рыба начала тяжело ходить, как будто упираясь в воде. Евсеич поспешил мне на помощь и ухватился за мое удилище; но я, помня его недавние слова, беспрестанно повторял, чтоб он тащил потише; наконец, благодаря новой крепкой лесе и не очень гнуткому удилищу, которого я не выпускал из рук¹, выволокли мы на берег кое-как общими силами самого крупного язя, на которого Евсеич упал всем телом, воскликая: «Вот он, соколик! теперь не уйдет!» Я дрожал от радости, как в лихорадке, что, впрочем, и потом случалось со мной, когда я выуживал большую рыбу; долго я не мог успокоиться, беспрестанно бегал посмотреть на язя, который лежал в траве на берегу, в безопасном месте. Удочку закинули опять, но рыба больше не брала. Через полчаса мы пошли домой, потому что я был отпущен на короткое время. Это первое удачное начало сделало меня окончательно горячим рыбаком. Язя надели на пруттик, и я принес его к отцу, который и сам иногда любил удить. Тогда еще не было у нас обыкновения взвешивать крупную рыбу, но мне кажется, что я и после никогда не выуживал язя такой величины и что в нем было по крайней мере семь фунтов.

Отец брал меня иногда на охоту с ружьем, на которую, впрочем, он езжал очень редко. Я сильно ей сочувствовал, и такие поездки были для меня праздниками, хотя участие мое в охоте ограничивалось тогда исправлением должности легавой собаки, то есть я бегал за убитой птицей и подавал ее отцу. Ружья мне и в руки не давали. Года через три, однако, во время летней вакации, о чем я расскажу в своем месте, первый ружейный выстрел решил мою судьбу: все другие охоты, даже удочка, потеряли в глазах моих свою прелесть, и я сделался страстным ружейным охотником на всю жизнь.

¹ Для успешного уженья крупной рыбы вообще полезно гнутое удилище и очень вредно твердое; но как здесь язь был вытащен вопреки всем правилам уженья, прямо через плечо, то твердое удилище, мало сгибаясь, оказалось полезным, ибо леса, по крепости своей, могла выдержать рыбу.

Когда болезнь моя прошла совсем, август месяц был уже в исходе; язи и головли давно перестали брать; но я успел выудить их несколько штук замечательной величины и, разумеется, упустил вдвое более. Зато уженье плотвы и особенно окуней находилось еще в сильном разгаре. Впрочем, я тогда очень развлекался ястребами; прошлогодними еще в июле начали травить перепелок; молодых гнездарей также давно уже выносили, и травля шла очень удачно. Старые ястрема были у Никанора Танайченка и у Ивана Мазана, а молодые — у Федора и у моего дядьки Евсеича. У меня также был свой собственный маленький ястреб, чеглик, выношенный очень хорошо, которым я травил воробьев и разных птичек. Я нередко езжал в поле на длинных дорогах, с кем-нибудь из названных мною охотников, всего чаще с Евсеичем, и очень любил смотреть, как травили жирных осенних перепелок и дергунов. Так прошло лето и начало осени, полные разных деревенских удовольствий, в число которых также можно поставить поездки за ягодами, а потом за грибами¹.

Мать моя не любила деревенских прогулок. Нам редко удавалось уговорить ее поехать со мной и отцом в поле или лес. Помню, однако, что чудесная полевая клубника, родившаяся тогда в великим изобилии, выманивала иногда мою мать на залежи ближнего поля, потому что она очень любила эту ягоду и считала ее целебною для своего здоровья. Езжали также изредка на живописные горные родники пить чай со всей семьей под тенистыми березами; но брат грибы казалось матери моей нестерпимо скучным; отец же мой и тетка, напротив, весьма любили ездить по грибки, и я разделял их любовь. Всего было больнее то, что моя мать не любила также нашего милого Аксакова. Она находила местоположение его низменным и сырым, что отчасти было справедливо, запах от пруда и плотины отвратительным, ключевые воды известковыми и жесткими, и все вместе положительно вредным для ее здоровья; много было прав-

¹ Я не воображал тогда, что грибы будут одним из самых постоянных моих удовольствий на старости лет. В благодарность за то у меня давно заронилась мысль — и я не отказываюсь еще от нее — написать книжку о грибах и об удовольствии брать их.

ды в этом, но много предубеждения и преувеличения. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла в городе, и всякая деревня казалась бы ей скучною. С огорчением слушали мы с отцом ее частые, красноречивые нападения на Аксаково, и хотя не смели защищать его, но мысленно не соглашались. Мать моя, живя в деревне, деревенской жизни не вела. Она занималась детьми, чтением книг и деятельною перепискою с прежними знакомыми, по большей части замечательными людьми, которые, быв только временными жителями или посетителями Уфы, навсегда сохранили к моей матери чувства почтительной дружбы. Она любила также читать медицинские книги: «Домашний лечебник» Бухана был ее авторитетом. К медицинским книгам она получила привычку, находясь несколько лет при постели своего больного отца; она имела домашнюю аптеку и лечила сама больных не только своих, но и чужих, а потому больных немало съезжалось из окружных деревень; отец мой в этом добром деле был ее деятельным помощником. Домашним хозяйством она почти не занималась.

Наступила осень, одно удовольствие исчезало вслед за другим; дни стали коротки и сумрачны; дожди, холод загнали всех в комнаты; больше стал я проводить время с матерью, больше стал учиться, то есть писать и читать вслух. Впрочем, в долгие вечера читал отец и даже сама мать — читала же она необыкновенно хорошо. Хотя отец мой не был приучен к чтению смолоду в своем семействе (у дедушки и бабушки водились только календари да какие-то печатные брошюрки «о Гарлемских каплях» и «Эликсире долгой жизни»), но у него была природная склонность к чтению, чему доказательством служит огромное собрание песен и разных тогдаших стишков, переписанных с печатного его собственною рукою, сохранившееся у меня и теперь. Моя мать успела развить эту склонность, и потому чтения по вечерам производились ежедневно с общим интересом. Я с живейшим удовольствием вспоминаю эти вечера, при которых всегда присутствовала и тетушка Евгения Степановна; литературное удовольствие подкреплялось кедровыми и калеными русскими орехами, которые были очень вредны для моей матери, но которые она очень любила: являлся на сцену медный ларец с лакомством и приносились щипчики и

пестики для раздавливанья и для разбиванья орехов¹. Как скоро чтение возбуждало мое любопытство, то это надбавочное удовольствие становилось мне очень неприятно, потому что развлекало и мешало слушать.— Когда моя мать чувствовала себя лучше обыкновенного и находилась в приятном расположении духа, то бывала увлекательно весела, много смеялась и других заставляла смеяться. Особенно роман «Франчичко Петроцио» и «Приключения Ильи Бенделя», как глупым содержанием, так и нелепым, безграмотным переводом на русский язык, возбуждали сильный смех, который, будучи подстрекаемый живыми и остроумными выходками моей матери, до того овладевал слушателями, что все буквально валялись от хохота — и чтение надолго прерывалось; но попадались иногда книги, возбуждавшие живое чувство, любопытство и даже слезы в своих слушателях.

Наступление зимы с ее первыми порошами и легкими морозами на некоторое время опять дало мне возможность предаваться моим охотам. По порошам сходили зайцев, русаков и беляков. Отец брал меня с собою, и мы, в сопровождении толпы всякого народа, обметывали тенетами лежащего на логове зайца почти со всех сторон; с противоположного края с криком и воплями бросалась вся толпа, испуганный заяц вскакивал и попадал в расставленные тенета. Я тоже бегал, шумел, кричал и горячился, разумеется, больше всех. Я очень любил эту забаву и любил толковать о ней с моим отцом. Когда моя мать бывала чем-нибудь занята и я мешал ей своими вопросами и докуками, или когда она бывала нездорова, то обыкновенно посыпала меня к отцу, прибавляя: «Поговори с ним об зайчиках», — и у нас с отцом начинились бесконечные разговоры.— Кроме охоты за зайцами, у меня была большая охота ставить поставушки на маленьких зверьков: хорьков, горностаев и ласок. Снятые шкурки пойманных зверьков, гладкие и красивые, висели, как трофеи, у моей кровати. Но скоро глубокие

¹ Судьба этого медного ларца достойна внимания. Мать принесла его в приданое в 1788 году, с ленточками, позументиками, кружевцами; в девяностых годах и даже в 1801 году он наполнялся калеными орехами; в 1807 году в нем лежало более ста тысяч рублей деньгами и векселями и на большую сумму бриллиантов и жемчугов; а теперь он стоит под письменным рабочим столом моего сына, набитый старинными грамотами.

снега начали засыпать сугробами землю, забушевали бураны, и все мои охоты решительно прекратились. Страшное и печальное зрелище зимний буран не только в степи, но и в теплом жилье! Занесет окна, надует снегу даже в сени, заметет все дорожки от дома в людские избы, так что надобно отрывать их лопатами; в десяти саженях не видать строения, в десяти шагах не видать человека! Наконец, навалит такие снежные громады, что кажется, никогда они не растают,— и уныние невольно овладевает душой! В столицах не могут иметь понятия об этом, но деревенские жители меня понимают и сочувствуют мне.— Я окончательно заключился в стенах дома и никак не мог упросить мою мать, чтоб меня отпускали с отцом, который езжал иногда на язы (около Москвы называют их *завищами*), то есть на такие места, где река на перекатах, к одной стороне, более глубокой, загораживалась плетнем или сплошными кольями, в середине которых вставлялись плетеные морды (нерота, верши, по-московски). Около святок и даже ранее начинали попадать в них налимы, иногда очень крупные. Привезут, бывало, их, окоченевших от сильного мороза, вывалит в большое корыто с водой, и мраморные, темнозеленые, пузатые налимы оттают понемногу, начнут плескаться, пошевеливая мягкими своими хвостами, опущенными мягкими перьями. Долго не отходил я от корыта, любуясь их движениями и отскакивая всякий раз, когда летели водяные брызги от их плес или хвостов. У отца моего много сидело налимов в больших плетенных сажалках — и вкусная налимья уха и еще вкуснейшие пироги с налимыми печенками почти всякий день бывали у нас на столе, покуда всем так не наскучивали, что никто не хотел их есть. Тогда начинали налимов приготовлять изредка и окончательно уже истребляли в продолжение великого поста.

По той же самой причине, что моя мать была горожанка, как я уже сказал, и также потому, что она провела в угнетении и печали свое детство и раннюю молодость и потом получила, так сказать, некоторое внешнее прикосновение цивилизации от чтения книг и от знакомства с тогдашними умными и образованными людьми, прикосновение, часто возбуждающее какую-то гордость

и неуважение к простонародному быту,— по всем этим причинам вместе, моя мать не понимала и не любила ни хороводов, ни свадебных и подблюдных песен, ни святочных игрищ, даже не знала их хорошенъко. С большим трудом уступала она иногда просьбам тетки позволить мне посмотреть на них; тетка же, как деревенская девушка, все это очень любила; она устраивала иногда святочные игры и песни у себя в комнате, и сладкие, чарующие звуки народных родных напевов, долетая до меня из третьей комнаты, волновали мое сердце и погружали меня в какое-то непонятное раздумье. Мне было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этих играх и, вследствие такого строгого запрещения, меня соблазнили, наконец, обманывать свою умную и так горячо любимую мать. Разумеется, я сначала просился и приставал с вопросами к моей матери: для чего она не пускает меня на игрища? Мать отвечала мне решительно и строго: «что там бывает много глуго^{го}, гадкого и неприличного, чего мне ни слышать, ни видеть не должно, потому что я еще дитя, не умеющее различать хорошего от дурного». А как я ничего дурного не видел или, видя, не понимал, в чем оно состоит, то повиновался неохотно, без внутреннего убеждения, даже с неудовольствием. Тетка же моя с своими сенными девушками говорили совсем другое; они утверждали, «что у матери моей такой уже нрав, что она всем недовольна и что все деревенское ей не нравится, что оттого она нездорова, что ей самой невесело, так она хочет, чтоб и другие не веселились». Такие слова вкрадчиво западали в мой детский ум, и следствием того было, что один раз тетка уговорила меня посмотреть игрище тихонько; и вот каким образом это сделалось: во все время святочек мать чувствовала себя или не совсем здоровую, или не совсем в хорошем расположении духа; общего чтения не было, но отец читал моей матери какую-нибудь скучную или известную ей книгу, только для того, чтоб усыпить ее, и она после чая, всегда подаваемого в шесть часов вечера, спала часа по два и более. Я в это время уходил к тете. В один из таких удобных часов она уговорила меня посмотреть игрища и, завернув с головой в шубу и отдав на руки здоровенной своей девке Матрене, отправилась со мной в столярную избу, где ожидала нас, переряжен-

ная в медведей, индеек, журавлей, старики и старух, вся девичья и вся молодая дворня. Несмотря на сильные вонючие огарки, даже дымную лучину, плохо освещавшую просторную избу, несмотря на удушливый мефитический воздух, сколько было истинной веселости на этих деревенских игрища! Чудные голоса святочных песен, уцелевшие звуки глубокой древности, отголоски неведомого мира, еще хранили в себе живую обаятельную силу и властвовали над сердцами неизмеримо далекого потомства! Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все. Взрывы звонкого дружного смеха часто покрывали и песни и речи. Это были не актеры и актрисы, представляющие кого-то для удовольствия других,— себя выражали одушевленные песенницы и плясуньи; себя тешили они от избытка сердца, и каждый зритель был увлеченное действующее лицо. Все пело, плясало, говорило, хохотало—и в самом разгаре, в чаду шумного общего веселья, те же сильные руки завертывали меня в шубу и стремительно уносили из волшебного сказочного мира... Долго я не засыпал в эти ночи, и долго странные образы плясали и пели вокруг меня и не расставались со мною даже в сновидениях¹.

В первый раз я был увлечен в этот обман внезапно,

¹ Я помню одну драматическую святочную игру, с особенною песнью и пляскою, которая, как я слышу теперь, уже вышла из памяти народной в той губернии, где я видел ее: посередине избы, на скамье или чурбане, сидит старик (разумеется, кто-нибудь переряженный), молодая его жена в кокошнике и фате, ходя вокруг и приплясывая, поет жалобу на дряхлость мужа, хор ей подтягивает. Пропев куплет, кажется из восьми стихов, из которых я помню два начальные во всех куплетах:

Ох ты горе мое, гореванье,
Ты тяжелое мое, воздыханье...—

жена подходит к мужу и посыает его пахать яровую пашню. Старик кашляет, стонет и дребезжающим голосом отвечает: «Моченьки нет». Зрители хоочут. Молодая женщина опять поет вместе с хором новый куплет, ходя и приплясывая кругом старика. Таким образом перебираются все полевые работы, и на все приглашения сеять, пахать, косить, жать и проч. старик отвечает словами: «Моченьки нет», разнообразя отказ прибаутками и оханьем. Наконец, жена поет последний куплет, в котором говорится, что все добрые люди убрались с полей и принялись варить пиво; потом подходит к мужу и зовет его к соседу «бражки испить». Старик проворно вскакивает, бодро отвечает: «Пойдем, матушка, пойдем» — и бежит стариковской рысью, утаскивая за руку молодую жену. Громкий веселый хохот зрителей заключает эту игру.

почти насильно, и по возвращении домой долго не смел смотреть прямо в глаза моей матери; но очаровательное зрелище так меня пленило, что в другой раз я охотно согласился, а потом и сам стал приставать к моей тетке и проситься на игрища.

Наконец, переломилась жестокая зима и унялись трескучие морозы. У нас не было тогда термометров, и я не могу сказать, до сколька градусов достигала стужа, но помню, что птица мерзла и что мне приносили воробьев и галок, которые на лету падали мертвыми и мгновенно коченели; некоторым теплота возвращала жизнь. Вообще я должен заметить, что зимы во время моего детства и ранней молодости были гораздо холоднее нынешних, и это не старикивский предрассудок; в бытность мою в Казани, до начала 1807 года, два раза замерзала ртуть, и мы ковали ее, как разогретое железо. Теперь уже в Казани это сделалось преданием старины.

Начало пригревать солнышко, начала лосниться дорога, пришла масленица, и началось катанье с гор. В общественных катаниях, к сожалению моему, мать также не позволяла мне участвовать, и только катаясь с сестрицей, а иногда и с маленьким братцем, проезжая мимо, с завистию посматривал я на толпу деревенских мальчиков и девочек, которые, раскрасневшись от движения и холода, смело летели с высокой горы, прямо от гумна, на маленьких салазках, коньках и ледянках: ледянки были не что иное, как старые решета или круглые лубочные лукошки, подмороженные снизу так же, как и коньки. Шумный говор и смех раздавался в бодрой, веселой толпе, часто одетой в фантастические костюмы, особенно когда летели вверх ногами наездники с высоких коньков или, быстро вертаясь, опрокидывалась ледянка с какой-нибудь девчонкой, которая начинала визжать задолго до крушения своего экипажа. Как мне хотелось туда — в этот шум, говор и смех... и как после этого зрелища казалось мне скучным уединенное катанье с ледяной горки, устроенной в саду перед окнами гостиной, и только одно меня утешало, что моя милая сестрица каталась вместе со мной.

С наступлением великого поста оканчивались все зимние, очень немногие, удовольствия. Нельзя сказать, чтоб великий пост проходил у нас в посте и молитве. Мать

моя постов не держала по нездоровью; я, конечно, не постничал; отец мой хотя не ел скромного в успенский и великий пост, но при изобильном запасе уральской красной рыбы, замороженных илецких¹ стерлядей, свежей икры и живых налимов — его постный стол был гораздо лакомее скромного. Церкви у нас еще не было, и ближайшая находилась в девяти верстах, в селе Мордовский Бутурулан. Священник был как-то не расположен к нам, и мы езжали туда только по самым большим праздникам. Вообще должно сказать, что у нас дом был не то что не богомольный, но мало привычный к слушанью церковной службы, что почти всегда бывает при отдаленности церкви. Итак, великий пост провел я в обыкновенных, несколько усиленных, учебных занятиях. Ученица моя уже не печалила, а радовала меня своими успехами. Я играл с ней в куклы, строил городки из чурочек, а иногда читывал и растолковывал ей детские сказочки.

Мать моя постоянно была чем-то озабочена и даже иногда расстроена; она несколько менее занималась мною, и я, более преданный спокойному размышлению, потрясенный в моей детской беспечности жизнью в гимназии, не забывший новых впечатлений и по возвращении к деревенской жизни,— я уже не находил в себе прежней беззаботности, прежнего увлечения в своих охотах и с большим вниманием сталглядываться во все меня окружающее, стал понимать кое-что, до тех пор не замечаемое мною... и не так светлы и радостны показались мне некоторые предметы. Чувство неиспытанной мною до тех пор особенного рода грусти стало привыкаться ко всем моим любимым занятиям, ко всем забавам... Я не буду распространяться об этом печальном обстоятельстве, но я должен упомянуть о нем, потому что иначе было бы нельзя понять, отчего через несколько месяцев жизнь в Аксакове уже не казалась мне прежним светлым раем, а вторичное поступление в гимназию, особенно учеником своекоштным,— не представлялось страшным событием.

Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала в права свои, и только в исходе апреля теплота в воздухе, дождь и ветер дружно напали на страшные грома-

¹ То есть уральских.

ды снегов и в одну неделю разрушили их. Во время пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ездили даже к заутрене великого праздника. Всю светлую неделю провел я невесело: мать была нездорова и печальна, отец молчалив; он постоянно сидел за бумагами по тяжелому делу с Богдановыми о каком-то наследстве,— это дело он выиграл впоследствии. Отец всякий день ходил на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, веротясь неожиданно скоро домой, он сказал мне: «Прости, Сережа, у матери: сейчас будем спускать воду». Я побежал проситься, и в этот раз счастливее прежних разов: мать отпустила меня, приняв некоторые предосторожности, чтобы я не промочил ног и не простудился. На длинных крестьянских дорогах доехали мы до мельницы; на плотине дожидались нас крестьяне с разными орудиями. Русский народ любит смотреть на движение воды, и все население Аксакова сбежалось поглядеть, как будут спускать пруд. Заводских вешняков с деревянными запорами у нас еще не заводилось, и отверстие в плотине, то есть вешняк, для спуска полой воды ежегодно заваливали наглухо. Пруд надулся и весь посинел, лед поднялся, истрескался и отстал от берегов, материк давно прошел, и вода едва помещалась в каузе. Топорами, пешнями и железными лопатами разрубили мерзлую плотину по обоим краям прошлогоднего вешняка, и едва своротили верхний слой в аршин глубиною, как вода хлынула и, не нуждаясь более в человеческой помощи, так успешно принялась за дело, что в полчаса расчистила себе дорогу до самого материка земли. Яростно устремились мутные волны, и в одну минуту образовалась сильная река, которая не уместилась в новенькой канавке и затопила окружные места. Радостными воскликами приветствовал народ вырвавшуюся на волю из зимнего плена любимую им стихию; особенно кричали и взвизгивали женщины,— и все это, мешаясь с шумом круто падающей воды, с треском оседающего и ломающегося льда, представляло полную жизни картину... и если б не прислали из дома сказать, что давно пришла пора обедать, то, кажется, мы с отцомостояли бы тут до вечера.

На другой день поутру мы опять поехали на плотину и нашли уже там другое, также шумное и веселое зрели-

ще. Первые бурные порывы воды несколько усмирились, пруд значительно сбежал, мелкие глыбы льда разбились о сваи и пронеслись, а большие сели на дно, по обмелевшим местам. По сухому почти месту, где текла теперь цепкая река из-под вешняка, были заранее включены толстые невысокие колья; к этим кольям, входя по пояс в воду, привязывали или надевали на них петлями морды и хвостуши; рыба, которая скатывалась вниз, увлекаемая стремлением воды, а еще более рыба, поднимавшаяся вверх по реке до самого вешняка, сбиваемая назад силою падающих волн,— попадала в морды и хвостуши. То и дело мокрые крестьяне, дрожа от холода, но в то же время перекидываясь шутками и громкими вскиданиями, вытаскивали на берег свою добычу, а бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки таскали ее домой в лукошках и решетах, а иногда и просто в подолах своих рубашек. Выбрав несколько крупных рыб, мы отправились домой. Мать моя была недовольна, что мы так замешкались, и не скоро получил я позволение побывать на мельнице.

В короткое время исчезли все признаки зимы, оделись зеленью кусты и деревья, выросла молодая трава, и весна явилась во всей своей красоте. Попрежнему населялся наш сад всякими певчими птичками, зорьками и малиновками, особенно любившими старые смородинные и барбарисовые кусты, опять запели соловьи, и опять стали передразнивать их варакушки. Проведя прошлогоднюю весну в тюремном заключении, в тесной больничной комнате, казалось бы, я должен был с особым чувством наслаждения встретить весну в деревне; но у меня постоянно ныло сердце, и хотя я не понимал хорошенько, отчего это происходило, но тем не менее все мои удовольствия, которым, повидимому, я попрежнему предавался, были отравлены грустным чувством.

Еще зимой отец мой задумал сделать на плотине так называемый заводской вешняк с запорами и построить хорошую мельницу. Он нанял для этого какого-то верхового мельника, Краснова, великого краснобая и плута, что все оказалось впоследствии. Весь великий пост заготовляли наши крестьяне лесной материал: крупные и мелкие бревна, слеги, переводины, лежни и сваи, которых почему-то понадобилось великое множество, и сейчас,

по слитии полой воды, принялись разрывать плотину и рубить новый вешняк на другом месте; в то же время наемные плотники начали бить сваи и потом рубить огромный мельничный амбар, также на другом месте, в котором должны были помещаться шесть мукомольных поставов; толчая находилась в особом пристрое. Работы продолжались почти во все лето. Отец мой слепо вверился Краснову, и хотя старый мельник Болтушенок и некоторые крестьяне, разумеющие несколько мельничную постройку, исподтишка ухмылялись и покачивали головами, но на вопросы моего отца: «Каков Краснов-то, как разумеет свое дело? нарисовал весь план на бумаге и по одному глазомеру бьет сваи, и все приходятся по своим местам!»—всегда отвечали с простодушным лукавством русских людей: «Боек, батюшка, боек. Что и говорить, мастер своего дела! Все раскинет в уме, и все приходится, как быть надо. Только не знай, как-то будет мельница молоть: вода-то пойдет по канаве, чай, тихо, не то что прямо из материка, да как бы зимой промерзать не стала?» Но Краснов улыбался на мужичьи замечанья и с такой самоуверенностью опровергал их, что отцу моему и в голову не входило ни малейшего сомнения в успехе. Я также слушал с благоговением красноречивого Краснова. Между тем постройка требовала, чтобы пруд был спущен, и в пруду открылось такое уженье, какого не видывали до тех пор, да и после не видали. Вся прудовая рыба скатилась в трубу, то есть в материки реки. Рыбы было столько, как в кастрюле с доброй ухой. Началось баснословное ужение. Я с Евсентием не сходил с пруда и нигде уже больше не удил; даже отец мой, удивший очень редко за недосугом, мог теперь удить с утра до вечера, потому, что большую часть дня должен был проводить на мельнице, наблюдая над разными работами: он имел полную возможность удить, не выпуская из глаз всех построек и осматривая их от времени до времени. Головли, язи, лини, окуньи, щуки и крупная плотва (фунта по три и более) брали беспрестанно и во всякое время дня. Величина рыбы зависела от величины насадки: кто насаживал огромные куски, у того брала огромная рыба. Я помню, что мой отец, который особенно любил удить окуней и щук, навязывал по два крючка на одну лесу, насаживал крючки мелкой рыбешкой и таскал по два окуня вдруг, и даже один раз

окуня и щуку. Впрочем, щук ловили большою частью на жерлицы, насаживая порядочными окунями и плотицами, и нередко попадались полупудовые щуки. Само собою разумеется, что несмотря на толстые лесы и крючки, без уменья удить и без помощи сачка самая крупная рыба часто срывалась, ломала удилища и крючки и рвала лесы. Евсейч мой, который и в старости часто смешил меня своей горячностью на уженье, более всех подвергался несчастным потерям, а по его милости и я часто терял крупную рыбу, потому что без его помощи не мог ее вытащить, а помочь его почти всегда была вредна. Самый сильный лов продолжался с весны до половины июля, а потом крупная рыба перестала брать; я разумею язей, головдей и линей; остальная же вся брала превосходно, но, вероятно, и они бы брали, если б тогда была известна насадка целых линючих раков.

В течение всего этого года моя мать постоянно переписывалась каждый месяц с Василем Петровичем Упадышевским. В этот год много последовало перемен в казанской гимназии: директор Пекен и главный надзиратель Камашев вышли в отставку; должность директора исправлял старший учитель русской истории Илья Федорыч Яковкин, а должность главного надзирателя — Упадышевский. Переговоря с новым директором и инспектором, Василий Петрович уведомил, что я могу теперь, если моим родителям угодно, не вступать в казенные гимназисты, а поступить своекоштным и жить у кого-нибудь из учителей; что есть двое отличных молодых людей: Иван Ипатыч Запольский и Григорий Иваныч Карташевский, оба из Московского университета, которые живут вместе, нанимают большой дом, берут к себе пансионеров, содержат их отлично хорошо и плату полагают умеренную. Отец и мать очень обрадовались таким известиям, особенно тому, что провалился Камашев, и хотя платить за меня по триста рублей в год и издерживать рублей по двести на платье, книги и дядьку было для них очень тяжело, но они решились для моего воспитания войти в долги, которых и без того имели две тысячи рублей ассигнациями (тогда эта сумма казалась долгами!), и только в ожидании будущих благ от Надежды Ивановны Кулоедовой отважились на новый заем. Курс ученья начался в гимназии с 15-го, а прием с 1 августа.— Итак,

было положено в исходе июля отправиться в Казань. Такое решение принял я почти спокойно, потому что внутреннее состояние моего духа становилось тяжеле и больнее. Но когда сборы были кончены, назначен день отъезда,— мне стало так жаль Аксакова, что вдруг все в нем получило в глазах моих прежнюю цену и прелесть, даже, может быть, большую. Мне казалось, что я никогда его не увижу, и потому я прощался с каждым строением, с каждым местом, с каждым деревом и кустиком, и прощался со слезами. Я раздарил все мое богатство: голубей отдал я повару Степану и его сыну, кошку подарил Сергеевне, жене нашего слепого поверенного Пантелея Григорьича, необыкновенного дельца и знатока в законах; мои удочки и поставушки роздал дворовым мальчикам, а книжки, сухие цветы, картинки и проч. отдал моей сестрице, с которой в этот год мы сделались такими друзьями, какими только могут быть девятилетняя сестра с одиннадцатилетним братом. Разлука с ней была для меня очень прискорбна, и я упросил мать взять мою сестрицу с собой. Мать сначала противилась моим просьбам, но, наконец, уступила.

Должно упомянуть, что за неделю до нашего отъезда была пущена в ход новая мельница. Увы, оправдались сомнения Болтушенка и других: вода точно шла тише по обводному каналу и не поднимала шести поставов; даже на два молола несравненно тише прежнего. Отец мой, разочарованный в искусстве Краснова, прогнал его и поручил хоть кое-как поправить дело старому мельнику.

Наконец 26 июля та же просторная карета, запряженная тем же шестериком, с тем же кучером и форейтором — стояла у крыльца; такая же толпа дворовых и крестьян собралась провожать господ; отец с матерью, я с сестрой и Параша поместились в экипаже, Евсеич сел на козлы, Федор на запятки, и карета тихо тронулась от крыльца, на котором стояла тетушка Евгения Степановна, нянька с моим братом и кормилица на руках с меньшей сестрой моей. Толпа крестьян и дворовых провожала нас до околицы, осыпая прощаньями, благословеньями и добрыми желаньями. Дорога шла до Крутца вдоль пруда, по которому уже плавали черные лысухи и над которым уже вилась стая белых и пестрых мартышек или чаек. Как я завидовал каждому деревен-

скому мальчику, которому никуда не надо было ехать, ни с кем и ни с чем не разлучаться, который оставался дома и мог теперь с своей удочкой сесть где-нибудь на плотине и под густой тенью ольхи удить беззаботно окуней и плотву! Он оставался полным спокойным хозяином широкого пруда, на этот год не заросшего камышами и травами, потому что был с весны долго спущен. Фыркали и горячились застоявшиеся кони, но сильные привычные руки кучера осаживали их и долго заставляли идти шагом. В карете все казались печальны и молчали. Я высунулся из окна и глядел на милое Аксаково до тех пор, пока оно не скрылось из глаз, и тихие слезы катились по моим щекам.

ГИМНАЗИЯ

Период второй

Приехав в Казань (1801 года), мы не остановились уже у капитанши Аристовой, а наняли себе квартиру получше; не помню, на какой улице, но помню, что мы занимали целый отдельный домик, принадлежавший, кажется, г. Чортову. Василий Петрович Упадышевский не замедлил к нам явиться. Все его встретили, как близкого родного, благодетеля и друга. Он рассказал нам, что Яковкин до сих пор только исправляет должность директора гимназии и что ходят по городу слухи, будто директором будет богатый тамошний помещик Лихачев, и что теперь самое удобное время поместить меня в гимназию своекоштным учеником, потому что Яковкин и весь совет на это согласен, и что, может быть, будущий директор посмотрит на это дело иначе и заупрямится. Упадышевский очень хвалил двух старших учителей, поступивших уже давно в гимназию из Московского университета: Ивана Ипатыча Запольского, преподававшего физику, и Григория Иваныча Карташевского, преподававшего чистую математику. Он превозносил их ум, ученость и скромность поведения. Они были дружны между собою, жили вместе в прекрасном каменном доме и держали у себя семерых воспитанников, своекоштных гимназистов: Рычко-